

Ирина Паперно

**КАК НЕ ЛЮБИТЬ, НЕ ЛЕЛЕЯТЬ ВОСПОМИНАНИЙ  
(ЛЕВ ТОЛСТОЙ)**

Рenate Дёринг к ее шестидесятилетию.

Надо ли жалеть об упущенной молодости? Казалось бы, к этому призывает нас лирическая поэзия и проза. У Фета:

И снится, снится, мы молоды оба,  
И ты взглянула, как прежде глядела...

Лидия Гинзбург, по следам Фета, в записных книжках писала, что это не только свойство литературы, но и один из законов сна: «Старые видят себя молодыми. То есть сознают себя...»

Сожалению по поводу утраченного времени посвящен центральный жанр лирической поэзии: элегия. Элегия – это медитация о переживании потери, или формализованный способ уныния. Предметом потери, как правило, является либо любовь, либо молодость, но чаще – и то и другое вместе. Пушкин, один из создателей русской романтической элегии, именно так понял дело (изучив образцы английского романтизма и подручный французский материал). Заметим, что к мрачному унынию по поводу утраченного Пушкин приступил еще в лицее.

Элегическое состояние основывается на упражнении неотвязного свойства человеческого сознания: памяти. «Я вспомнил прежних лет безумную любовь...» (Пушкин, «Погасло дневное светило»). «Да оживлю теперь я в памяти своей...» (Батюшков, «Воспоминание»). И в «Кавказском пленнике» Пушкина:

Волшебной силой песнопенья  
В туманной памяти моей  
Так оживляются виденья  
То светлых, то печальных дней.

Именно на письме – литературном письме – осуществляются поиски потерянного времени. В самом деле, элегическое сознание – это опустоше-

ние настоящего, заполняемого лишь за счет воспоминания об утраченном прошлом. (Отсюда, думаю, и уныние.)

Таков, в прозе, проект Пруста. Можно считать, что для Пруста память, осуществляемая на письме, – это способ вернуть прошлое, поместив его в настоящем. (Так считают те многочисленные исследователи, которые сравнивают Пруста с Бергсоном.) А можно судить и иначе: а именно, что поиски утраченного времени исходят из ужаса перед настоящим.

Трезвее кажется вывод Мурнау, в фильме *Фауст* (1926 года). Мурнау заставляет старого Фауста (Мефисто только что лишил его возвращенной молодости) бежать, с развевающейся бородой, за молодой Маргарет, которую ведут на костер. Говоря языком немого фильма, Мурнау предлагает нам наглядный пример не только бессмысленности, но и опасности сожалений о прошедшей молодости. Вспомним, что возвращенной молодости Фауст лишен потому, что, ужаснувшись содеянному с Маргарет, он проклял молодость как таковую. Однако, и Мурнау сбивается на счастливый конец: в дыму и пламени, Маргарет и Фауст молоды оба, и она взглянула, как прежде глядела.

В поисках облегчения от мучительной болезни – мрачного уныния по поводу утраченного времени вообще, и молодости и любви в частности, – я обратилась к Толстому.

Толстой также пытался вернуть утраченное время:

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не делить воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Всем конечно памятны эти слова, но все ли помнят, что, когда он написал их (в главе 15 повести *Детство*), автору было двадцать четыре года.

Как лирический поэт и прозаик, так и мемуарист, склонен предаваться сожалениям по поводу утраченного времени. Это входит в структуру жанра. Однако входит ли это в структуру жизни?

Обратимся к другому жанру письменности: дневнику.

Толстой, как известно, вел дневник большую часть жизни, особенно усердно в молодости (1847-1857, т.е. от девятнадцати лет до двадцати девяти) и в старости (1881-1910, после пятидесяти лет). Главная задача и тема дневника – борьба со временем, но вовсе не в элегическом или прустовском модусе поисков утраченного. Толстой пишет дневник во имя настоящего. Для Толстого, дневник – это анти-романтический, анти-элегический жанр. Казалось бы, дневник, как жанр, – это торжество реализма. В самом деле, дневник (Tagebuch, journal, diary) предполагает немедленное фиксирование настоящего на письме в рамках отдельного дня как условной единицы настоящего. А поскольку дневник пригоден также и к перечитыванию, ни

один день нельзя считать утраченным. Казалось бы, время поймано за хвост, остановлено в самом течении.

Конечно, и в пределах одного дня возникают те же проблемы: в конце дня, когда делается запись, день – это уже прошедшее. За ним непосредственно наступает следующий день – будущее. Как и прошедшее, будущее представляет собой угрозу для реальной жизни. Да и есть ли настоящее?

Об этом впервые писал Августин в своей *Исповеди*. Что такое время? Будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее преходяще. Даже единый день не целиком находится в настоящем – некоторые часы дня находятся в будущем, другие в прошлом. Решением Августина было поместить прошлое и будущее в пределы человеческого сознания, как воспоминание и ожидание. К Августину и восходит дурная привычка заполнять настоящее как поисками утраченного времени, так и ожиданием будущего. На протяжении столетий философы и писатели (среди них, Кант, Шопенгауэр и Толстой-прозаик) повторяли и видоизменяли эти доводы. Однако в своем дневнике Толстой разрабатывал иные – домашние – методы по управлению течением времени при помощи повествования.

Думаю, что из дневника Толстого видно, как, по ходу жизни, он работает именно над тем, как *не любить, не лелеять воспоминаний*. Как именно достичь этого состояния стало абсолютно ясным для него в лучшую пору его жизни: в старости. (Замечу, что старость началась для Толстого вскоре после пятидесяти лет.)

Проследим, что, год от года, Толстой пишет в своем дневнике в день своего рождения, 28 августа. Это момент, в который он конфронтирован с понятием о времени, а именно с идеей уходящей и будущей жизни, или прошлого и будущего. У Толстого эти размышления идут под знаком смысла: в чем смысл жизни?

28 августа 1852. Мне 24 года; а я еще ничего не сделал. [...]

Но на что я назначен? Это откроет будущность. Убил трех бекасов (46: 140).

Толстой только что закончил повесть *Детство* и получил ободряющее письмо от редактора, Некрасова, чему, в дневнике, радуется «до глупости», добавляя «о деньгах ни слова». Через год, 26 августа 1853 г., не дождавшись двух дней до дня рождения, он пишет:

Я ожидаю какого-то счастья в этом месяце и вообще с 26 года моего возраста. Хочу принудить себя быть таким, каким, по моим понятиям, должен быть человек. Молодость прошла. Теперь время труда. Денег, исключая того, что мне должны, около 20 р. (46: 172-73).

Через два дня, в день рождения:

28 августа 1853. [...] для своего рождения ходил в тир [...] и водил Машу на бульвар. Весело не было. Труд только может доставить мне удовольствие и пользу (46: 172-73).

28 августа 1857 г. 29 лет. Встал в 7 [...] Сережа уехал [...] Завтра еду к Горчаковым (47: 154).

Как кажется, двадцать девятый день рождения знаменателен именно тем, что наконец лишен событийности. Начиная с тридцати лет, Толстой вел дневник нерегулярно.

29 августа 1860 [...] Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни (48: 29).

(Толстому тридцать два года.)

28 августа 1862. Мне 34 года. Встал с привычкой грусти. [...] Скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое, и дано зато много (48: 41).

(Именно в тот год Толстой женился.)

Прежде, чем Толстой вновь сделал запись в дневнике в день своего рождения, прошло двадцать лет (Толстому пятьдесят три года):

28 августа 1881. Не мог удержаться от грусти, что никто не вспомнил (49: 57).

За день до этого. Толстой отметил провал в своей собственной памяти:

27 августа. 24, 25, 26, 27. Ничего не помню... (49: 57).

Через три года:

28 августа 1884. Мне 2 x 28 лет (49: 119).

Никаких комментариев, но подсчет выдает уловку: Толстой еще мыслит в рамках молодости, двадцать восемь лет, да только помноженные на два.

В 1886 году, единственная запись, которую он делает в дневнике, сделана в день рождения (пятьдесят восьмой), 28 августа. Не упоминая о дне рождения ни словом, Толстой рассуждает о смысле жизни:

Главное заблуждение жизни людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждению

и отвращение от страданий. И человек [...] ищет наслаждений и избегает страданий и в этом полагает цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избежать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни. [...] Цель жизни общая или духовная. Единение. Только... *Не знаю дальше, устал* (49: 129-30).  
(Последние слова выделены Толстым; мы еще вернемся к этим словам.)

Через три года, в 1889 году, он вновь берется за дневник в день своего рождения. Накануне, 27-го августа, Толстой записал: «вечер провел все так же, как и все дни». В день рождения:

28 августа. Ясная Поляна. Встал рано и сейчас же *сел* за работу и часа 4 писал «Крейцерову сонату». Кончил (50: 129).

С идеей брака, судя по тому, что он написал на эту тему в «Крейцеровой сонате», также было покончено. Как думал тогда Толстой, покончено было и с писательской деятельностью (как показало будущее, покончено не окончательно).

В 1890 году интерес к течению времени одолел-таки его в день рождения, в чем он кается в дневнике:

28 августа 90. 63-й год мне. И совестно, что то, что 1890: 63=30, и что 28 лет моей женитьбе, что эти цифры представлялись мне чем-то значительным, и я ждал этого года как знаменательного (51: 83).

Толстой еще мыслит цифрами, обозначающими молодость. В последний день этого, 1890-го, года Толстой записывает:

Ну-с. 1891. Я[нварь] 1, если буду жив. Все ждал, что что-то случится в период, когда мне 63, содержащиеся 30 раз в 1890. – Ничего не случилось. Точно я знаю, что все, что может случиться извне, ничто с тем, что может сделаться внутри (51: 116).

Едва ли нужно пояснять слова «если буду жить» – знаменитую толстовскую формулу бытия. Начиная по крайней мере с 1889 года (т.е. после того, как ему исполнилось шестьдесят лет), Толстой регулярно пользовался ими в дневнике. Но не многие знают, что в эти годы Толстой делал записи вечером, но датировал их следующим днем. Приступая вечером 31 декабря 1890 года к писанию дневника, он написал: «Ну-с. 1891. Январь 1-ое, если буду жив...». Таким образом он балансирует между прошлым и будущим в пределах одного дня. Как жить, и писать, в настоящем – этот вопрос еще не решен. Содержание же записи – отсутствие событийности (ничего не

случилось). Это радует Толстого, как будто отсутствие событийности способствует остановке времени.

Лишь через три года, в знаменательный год, когда ему исполнилось шестьдесят шесть лет, Толстой отмечает день своего рождения в дневнике:

28 августа 1894. Вот и 66 лет. Вот и тот срок, который казался мне столь отдаленным (152: 135).

Ему подумалось, что вот то, что некогда казалось будущим, сделалось настоящим.

Затем, многие годы Толстой ничего не пишет в дневник весь август, а то и сентябрь – вблизи дня рождения (1895, 1896, 1897, 1898, 1901). Это простой способ избежать конфронтации со временем.

В 1900 году, 30 августа он отмечает в дневнике «72 года», и спрашивает себя «верю ли я, точно ли *верю* в то, что смысл жизни в исполнении воли Бога [...] готовлю себе будущую жизнь?» (54: 38). Итак, будущее более не является принадлежностью этой, земной, жизни.

Следующая запись сделана в 1903 году. Толстому исполнилось 75 лет, его борьбе с чувством времени нанесен удар: празднования и поздравления. В день рождения он ничего не пишет в дневнике, а 3 сентября замечает:

28-е прошло тяжело. Поздравления прямо тяжелы и неприятны – неискренно *земли русской* и всякая глупость (54: 190)

*Земли русской* – это слова из известного предсмертного письма Тургенева (в июне 1883 года), призывавшие Толстого вернуться к литературной деятельности: «Друг мой, великий писатель земли русской, внемлите моей просьбе...» Письмо больного Тургенева обрывается: «не могу больше, устал». Просьбе Тургенева вернуться к литературной деятельности Толстой не внял. Письма он, однако, не забыл. Вспомним конец дневниковой записи, которую он сделал в день рождения в 1886 году: «... не в этом цель жизни. [...] Цель жизни общая или духовная. Единение. Только... *Не знаю дальше, устал*» (49: 129-30) (последние слова, выделенные Толстым – это цитата из письма Тургенева).

В 1908 году. Толстому предстояло еще более страшное испытание – пышные празднования его восьмидесятилетия, которое произошло несмотря на его энергичные протесты. 26 августа он записывает:

Шумят по случаю юбилея, и я рад, что чувствую себя спокойным совсем [...] На душе хорошо, думаю, что продвигаюсь....

Что же стало лучше? И куда он наконец продвигается? Это проясняет запись, сделанная через несколько дней после юбилея:

3 сентября [1908]. На душе, скучно повторять, все лучше и лучше. Я все забыл и забываю, так что прошедшее исчезает для меня. Так же, еще больше, исчезает будущее. Как это хорошо! Вся сила жизни – а сила эта страшно умножилась – переносится в настоящее. Я сознаю это. Как это радостно! (56-150)

Итак, жизнь становилась все лучше и лучше потому, что Толстой почувствовал, что память все больше и больше оставляет его. Вместе с памятью, стало исчезать прошедшее. По причине старения, исчезало и будущее. «Как это хорошо!», – записывает Толстой, – «Как это радостно!»

В самом деле, для Толстого наконец наступило *настоящее*. Думаю, что он употребляет это слово и как обозначение одного из измерений времени (*настоящее=praesens*), и как оценку качества жизни (*настоящее=veritas*). Вот запись, сделанная ровно через месяц после восьмидесятилетия:

28 сентября. Теперь только настоящая работа, теперь только, в 80 лет, начинается жизнь. И это не шутка, если понимать, что жизнь меряется не временем (56: 151).

Слово «настоящая» явно означает «подлинная», «истинная». Эта тема повторяется в дневнике неустанно: это и понятно, ведь Толстой плохо помнит, что он уже писал об этом.

Итак, если молодой Толстой, покорный общему закону, грустил, в эггической прозе, по поводу невозвратимой поры детства, то старому и мудрому Толстому старость представлялась как пора счастья – того счастья, которое приходит с потерей памяти и с освобождением от времени. Эта и есть *настоящая* жизнь. В дневнике Толстой вновь и вновь возвращается к этой радостной мысли:

26 октября 1908. Как я прекрасно забыл все прошедшее и освободинлся от мысли о будущем. Да, начинаю в этой жизни выходить из нее, из главного условия ее: времени (56: 152).

[23 октября 1910 г.] Я потерял память всего, почти всего прошедшего, всех моих писаний, всего того, что привело меня к тому сознанию, в каком живу теперь. [...] Как же не радоваться потере памяти? Все, что я в прошедшем выработал (хотя бы моя внутренняя работа в писаниях) всем этим я живу, пользуюсь, но самую работу не помню. Удивительно. А между тем думаю, что эта радостная перемена у всех стариков: жизнь вся сосредотачивается в настоящем. Как хорошо! (58: 121-22).

Прошлое, по следам которого с таким непреклонным писательским трудолюбием стремился Пруст, исчезло: человек потерял память о предыстории своего «я». Толстой, наконец, смог жить тем, что он назвал безвременной жизнью в настоящем (58: 122), т.е. «настоящей» жизнью, в обоих смыслах слова.

Заметим, что Толстой однако продолжает вести дневник. Как и Пруст, он одержим манией фиксации. Однако письмо для него – это борьба не за возвращение утраченного прошлого, а за укоренение настоящего.

В последние годы своей жизни Толстой, как многие старики, много спал. Но сон для него – не вместилище памяти о прошлом (как для Фета или Лидии Гинзбург), а область забвения. При пробуждении ему нередко не удавалось сразу восстановить память и сознание себя:

[31 января 1908 г.] Я нынче все больше и больш[e] [начинаю] забывать. Нынче много спал и, проснувшись, почувствовал совершенно новое освобождени[e] от личности: так удивительно хорошо! Только бы совсем освободиться. Пробуждение от сна, сновидения, это – образец такого освобождения (56: 98).

В своем позднем дневнике Толстой часто пишет о сходстве жизни со сновидением:

25 Марта 1908. Я. П. 1) Главное подобие в отношении ко времени: в том, что как во сне, так и наяву времени нет, но мы только воображаем, не можем не воображать его. Я вспоминаю длинный, связный сон, который кончается выстрелом, и я просыпаюсь. Звук выстрела это был стук ветром прихлопнутого окна. Время в воспоминании о сновидении мне нужно, необходимо было для того, чтобы в бдящем состоянии расположить все впечатления сна. Так же и в воспоминаниях о событиях бдения: вся моя жизнь в настоящем, но не могу в воспоминании о ней, скорее в сознании ее не располагать ее во времени. Я ребенок, и муж, и старик все одно, все настоящее. Я только не могу сознавать этого вне времени (56: 114).

Вслед за Кантом и Шопенгауэром (которых, как и Августина, он прочел в зрелые годы), Толстой понял, что время – это свойство мышления и повествования. Пробуждение ото сна переживается им как прообраз смерти. Смерть же – это пробуждение от сна жизни к жизни настоящей, лежащей вне категорий сознания, вне времени, пространства и языка, а потому принципиально неопишуемой. По старой привычке – профессиональной привычке писателя – Толстому хотелось написать о своем открытии смысла жизни:



17 сентября 1909 года. Хотелось бы сказать, что жизнь до рождения, может быть, была такая же, что тот характер, который я вношу в жизнь, есть плод прежних пробуждений, и что такая же будет будущая жизнь, хотелось бы сказать это, но не имею права, потому что я вне времени не могу мыслить. Для истинной же жизни времени нет, она только представляется мне во времени. Одно могу сказать то, что она есть, и смерть не только не уничтожает, но только больше раскрывает ее. Сказать же, что было до жизни, и будет после смерти, значило бы прием мысли, свойственный только в этой жизни, употребить для объяснения других, неизвестных мне форм жизни (57: 142).

(«Представляется» слово из Шопенгауэра, переведенного Фетом.)

Таков конечный вывод Толстого. Проект Пруста завершается в той точке, когда автор-герой, в поисках утраченного времени, приступает к писанию романа, который и будет средством остановить реку времен в ее течении. Толстой, который в старости изо всех сил старался отделаться как от памяти, так и от писательства, кончает иначе: призывом к молчанию («хотелось бы сказать ... но не имею права»).

Об этом лучше всего сказано по-немецки, философом, который был страстным поклонником Толстого:

Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.